

АЛЕКСАНДР
ГЕНИС

18+

+ Обратный
адрес

РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНЬ ШУБИНОЙ

Генис: частные случаи

Александр Генис

Трикотаж. Обратный адрес

«Издательство АСТ»

2002, 2016

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3 (2Рос=Рус)6

Генис А. А.

Трикотаж. Обратный адрес / А. А. Генис — «Издательство АСТ»,
2002, 2016 — (Генис: частные случаи)

ISBN 978-5-17-157990-6

Мемуарный том Александра Гениса сочетает под одним переплетом две очень разные книги. Хотя в обеих читатель встретит знакомых героев и материал, но тексты радикально различаются манерой. Если построенный вокруг жизни автора цикл рассказов “Трикотаж” — это плотная лирическая проза с теологическими нюансами, то “Обратный адрес” остается в честных рамках нон-фикшена и может служить ключом (вплоть до фотографий персонажей) к первой книге. Такой контрапункт остранивает традиционный мемуарный жанр и делает его новым и оригинальным. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3 (2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-157990-6

© Генис А. А., 2002, 2016
© Издательство АСТ, 2002, 2016

Содержание

Трикотаж	6
Бабушка	6
Коля	13
Субботник	19
Атеисты	26
Таблетка от танков	34
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Александр Генис

Трикотаж. Обратный адрес

© Генис А.А.

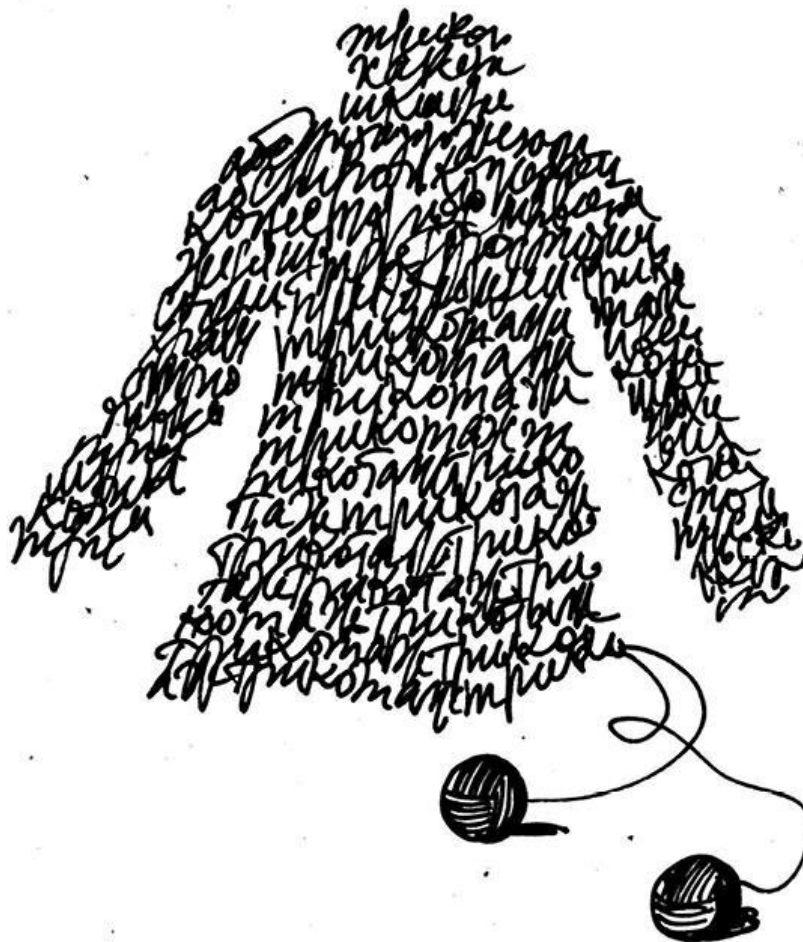
© Бондаренко А.Л., художественное оформление

© Двоскина Е.Г., иллюстрации

© Аловерт Н.Н., фото

© ООО «Издательство АСТ»

Трикотаж



Бабушка

Посвящается Д. Рамаданской

Я заплакал, когда она умерла, хотя в ее возрасте трудно было сделать что-нибудь умнее. Как только это случилось, начались сны. Я знал, что мне от них не отделаться, пока не напишу все, что о ней помню.

Я привык относиться к своему подсознанию снисходительно, как к разжиревшей таксе. Слепое и глухое, оно почти ничего не знает об окружающем. Из всех органов чувств у него

одна интуиция. Она доносит ему, что происходит снаружи, но сведения эти приблизительны и недостоверны. На все оно реагирует невпопад и путая. Больше непонятливости меня раздражает его медлительность. С женой оно познакомилось лет через пять, с сыном – года через два, о коте – до сих пор не знает. Зато на смерть отзывается мгновенно, и покойники оказываются в моих снах быстрее, чем в могиле. Видимо, о смерти оно знает больше моего. Оно ведь еще не совсем родилось. Одной ногой, эдакой необутой амебной ложноножкой, оно еще по ту сторону.

Во сне больше всего хлопот доставляют местоимения. Никогда не уверен, что говоришь от первого лица. Когда мы переехали в населенный азиатами городок, мне стали сниться японки в распахнутых кимоно. Для моего простодушного, как пельмени, подсознания репертуар был чересчур эксцентричным, и я решил, что на новом месте мне снятся чужие сны.

Первый раз бабушка появилась на вокзале. Мы провожали ее в Луганск – она ездила туда к своей маме. Во сне бабушка брела по перрону, становясь все меньше. Тут пошел дождь, и она спряталась под бетонный козырек газетного киоска. Он скрыл ее целиком – ростом бабушка была с двухлетнюю девочку.

Ее маму я немного помню. На ней было платье с блеклыми цветами, и называть ее следовало тоже бабушка – чтобы не подчеркивать возраст. Она родилась в деревне Михайловка, никогда не служила, семью держала в страхе. Обе дочери, сами уже старухи, проводили с ней каждое лето. У нас она не открывала рта – ее озадачивало меню. В их южном краю всегда ели борщ. Его варили из всего, что попадется под руку: мяса, грибов, утки. Борщ никогда не кончался. Он плавно перетекал из одного в другой, даже кастрюля не мылась.

Пока я пишу эти строчки, вокруг скамейки бегают бурундуки. День теплый, но осень уже поздняя, и он носится, не обращая на меня внимания. Я для него слишком неповоротлив – и как угроза, и как конкурент. Бурундук живет в другом режиме, опережая меня не только в беге, но и в неподвижности. Это выяснилось, когда весной мы грелись с ним на солнце. Но сейчас дело идет к зиме, и он вкалывает, как персонаж ненаписанной басни. Возле норы желуди кончились, и ему приходится описывать всё более широкие круги. Возвращаясь, он часто встает во весь рост, чтобы узнать окрестности. Став одной из них, я боюсь уйти и лишиться его примет.

Борщ бродит и по моим жилам. Когда я был еще без зубов, бабушка научила меня сосать смоченную в борще салфетку. Так она воевала с сомнительной наследственностью. В Луганске бабушка рассказывала, что у нас борщ едят не всегда. Однажды она даже сварила своим бульон, но никто не смог его есть.

Борщ – огород в тарелке, а тут голая курица плавает – как утопленница. Эта палаческая простота внушила им отвращение, и бульон вылили в выгребную яму. А ведь родня моя отличалась крестьянской скупостью. Все покупное бабушка ценила больше себя. Любая механическая вещь казалась ей бесценной. Например – будильник, одна из ее немногих самостоятельных покупок. Он ей был совсем не нужен. Она никогда никуда не торопилась. В школу бабушка ходила меньше года – от задач она плакала. Когда-то бабушка работала на фабрике, но и там не научилась приходить по гудку. И все же бесполезный будильник она любила, как кошку. Когда дело доходило до битья посуды, бабушка уносила его в свою каморку, чтобы вместе переждать бурю.

Ну всё, бурундук утихомирился в норе – до апреля у него мертвый сезон. Мне тоже пора – отсчитывать круто уходящие вниз ступеньки. Девять: нога на крепкой доске. Восемь. Всеё еще широко, но носок зависает. Семь, шесть. Стертая покатошь. Пять – уже боком. Четыре, три, два. Чтобы выдержать паузу, надо вжаться в черную сырость стены. Два, вздох, один. Приехали.

На этот раз лес почти зеленый. Стволы угадываются по аккуратным загогулинам листвы. Хвойные вдалеке: палки с небрежными щетками. Но тропа очень реалистическая. Юлит, не показывая, куда ведет, и корни цепляются, как настоящие. Идти надо долго, и это трудно – как стоять закружившись. Ведь нужно держать в голове весь пейзаж, даже тот, что сзади. От усталости торопишь события, вытягивая шею шагов на десять.

Впереди открывается пруд. Черный, с кувшинками – лесной Стикс. Смахивает на Васнецова, но я делаю вид, что не узнаю. У берега сучок плывет против ветра. Значит черепаха, видимо, Харон. Прыгнул на панцирь, сжался, как воробей, и уже на другом берегу. Там ствол развален вроде шатра. Внутри темно, из мрака появляется сундук. Не оригинально. Тем более что я его узнал. Тут не видно, но он громадный, темно-зеленый. Сколочен из чего-то военного. Стоял у нас на антресолях. В нем лежали ненужные (как странно) игрушки. Сундук растаял, осталась книжка-лилипут, сшитая из промокательной бумаги.

Перьевистка! Она чистит копеечные перья для деревянных ручек. Их макают в чернильницы-невыливайки. Но это одно название, на самом деле всегда выливаются, поэтому их носят в специальных мешочках: завтрак для чернильных эльфов, скорее – троллей, мерзкие твари. Расщепом перья цепляют набухшие бумажные волокна. Вот их-то и обтирают страницей-промокашкой. Физиология письма. Туалетная бумага тетради. Сомнительный дар. На что он мне? А я ей? Может, она считает себя книгой и ждет, когда ее прочтут? Но там одни отходы производства – чернильная слизь, оставшаяся от написанных слов. А может, это – чудо? Претворение духа в тело, пусть и грязное.

И все же зачем я ей? Сидит, ждет. Нахохлилась, листочками дрожит, лиловый ежик. Шершавая мазохистка. Ей нравится, когда перья вытирают об нее ноги. Для нормальной книги в ней многовато тактильности. Противная, мурашки от нее, как от мела по доске (плохого окаменевшего, а не жирного болгарского, который наши профессорши приносили с собой в сумке). Ага, вот и резюме: вспоминай, что колется. Теперь можно обратно. Но это быстро: раз-два – наверху. Здесь столько лишнего, что даже мутит, но с этим быстро свыкаешься, если не оборачиваться слишком резко. Главное – добыча: перьевистка из оставшегося от переезда ящика защитного цвета с угловатой надписью “верх”.

Когда-то мы жили в Рязани. Я даже там родился, но ничего не помню, кроме проходного двора. Куда он вел, мне уже не узнать.



От Рязани у меня осталась бабушка, которую мы так и звали: “рязанская”, чтобы отличать от другой – “киевской”. В сущности, они обе были из Киева. Их даже звали одинаково – Аннами. Одну – Анна Соломоновна, другую – Анна Григорьевна. Разделяла их национальность и улица Чкалова.

Еврейская бабушка жила в маленьком доме, русская – в большом. Черном, уродливом. Я плохо понимал его устройство. Знаю только, что кухонные окна выходили во двор. Как только мужа уходили на завод, жены затевали котлеты. Мясорубок еще не было, и фарш рубили секачом. Канонада доверху наполняла каменный колодец.

Все это было в 1930-е годы. Маленьким я любил это время и хотел в нем жить. Из 1930-х к нам дошла узорчатая скатерть с бахромой, скорее – ковер-самолет, чем самобранка. Долго я не верил, что бывают вещи красивее.

Теперь мне кажется, что тогда все мужчины походили на Булгакова, а женщины – на Цветаеву. Дедушка на фотографии – вылитый Булгаков: редкие волосы, пристежной воротничок. Зато бабушка – украинская Кармен. Черные волосы до колен, белое, как у панночки, лицо, дикие широко расставленные глаза. Я видел такие на снимке: африканский буйвол перед атакой. У него были бабушкины глаза – бесстрашные до сумасшествия. Она никогда не сдавалась.

– Вы – кремень, а я – булат, – говорила бабушка моему отцу, путая незнакомые пословицы. Тем не менее в этом что-то было. После войны отец торговал камешками для зажигалок. Делали их, насколько я понимаю, из кремня.

До семнадцати дед не умел читать, но в конце концов закончил рабфак, работал инженером, играл в преферанс. Он родился в румынском городе Браилов и звали его Филипп Флоре, но бабушка упорно считал его, как всех хороших людей, русским. Тем более что в Луганске дедушкина фамилия стала Бузинов. В анкете спрашивалось: “Як твоє прізвище?” Не зная украинского, он написал детскую кличку – “Бузина”. В 1938-м дедушку расстреляли – как румынского шпиона.

Сегодня река вынесла на берег борт корабля. Судя по еле заметному изгибу, целое судно было гигантским – ковчег. От странствий кожу его покрыла жемчужная сыпь ракушек. Непонятно: состарился он за работой или лежа на дне. Доски пригнаны так, что между ними не влезает грифель карандаша. Завидная работа. Соединять части труднее всего. Знатоки женского тела, объяснял мне скульптор, следят, чтобы не было швов между верхом и низом. На суше корабельный остов несуразен, как выброшенный кит. Я видел такого на Рижском взморье. Он был напрочь лишен формы. Особенно после того, как тушу искромсали набежавшие из Слоки цыгане.

Мне нравится жить у реки. Жирно поблескивающая рябь мешает воде отражать. Не минеральное стекло, а живая ткань – влажный эпителий. Его полотно расписано узорами – темные разводы, блестящие штрихи, лужи глади. Раньше мне хотелось прочесть реку, теперь я почти разлюбил читать.

На воде сидят утки. По сравнению с нами им доступны две лишние стихии, как ракетам “вода – воздух”. Зимой на Гудзон прилетают глупые канадские утки. Они умеют плавать, не просыпаясь. Однажды мы с братом Гариком наткнулись на таких. Всю воду замусорили булкой, но они только качались на зыби. Мы не отставали от птиц, пока из кустов не вывалился человек с ружьем. От хохота он долго не мог объяснить, что мы кормили его резиновых уток.

Бабушка тоже любила все правдоподобное. Непонятному не было места в ее мире. Стихийный реалист, она плакала, когда история не кончалась свадьбой. Но больше всего ее огорчала живопись, которую отец вырезал из прогрессивных польских журналов. С журналами он обращался, как цыгане с китами. Не зная языка, отец читал по азбуке Брайля: водил пальцами по строчкам, пока не наталкивался на запретную фамилию – Бухарин! Потом вырезал Бри-

жит Бардо – для себя и Гогена – для гостиной. На репродукции бабушка смотрела не мигая, и когда над диваном появилась натурщица с бордовым задом, бабушка сожгла картину вместе с рамкой.

Я никогда не видел, чтобы к искусству относились так трепетно. По-моему, бабушку понимал один Хрущев. Для обоих связь живописи с жизнью была слишком прямой: уничтожая дурную копию, они спасали оригинал.

Больше всех искусств бабушка ценила вышивку. Она и меня научила вышивать цветы шелковыми нитками. Они назывались нарядно, как пирожное: мулине. Последняя бабушкина работа лежит у меня на столе. Она изображает природу: на малиновом бутоне соловей с чертами петуха. Эту вещь невозможно применить по назначению, потому что у нее нет назначения. Чистое, как у Набокова, искусство. Резервуар бесполезного труда.

Бабушка научила меня вышивать – я ее читала книжки. Раньше ей это не приходило в голову. Писала она, как слышала, то есть – плохо. Зато читала с наслаждением, иногда до утра. Пока автор не отклонился от реализма, экзотичность происходящего ее не смущала.

Бабушкиным любимцем был король чикагской биржи Каупервуд. За его карьерой она следила на протяжении всех трех томов, отведенных ему Драйзером. Бабушка называла его Теодором. Она редко утруждала себя фамилиями: Лондон был для нее Джеком, Хемингуэй – Эрнестом. Незнание предмета ей никогда не мешало – она охотилась за эмоциями. Если бабушка узнавала описанные автором чувства, то слепо верила всему остальному. Исключения составляла явная чушь.

Впервые мы разошлись на “Голове профессора Доуэля”. Друг моей юности Шульман хотел поменяться с ним местами, но мне эта живая голова всегда не нравилась и снилась до тех пор, пока я не начал вставлять несчастного профессора во все, что печатаю. Так я выяснил, что снится мне лишь то, о чем я не пишу. Литература – сон разума, и мне удастся заполнить страницу только тогда, когда я забываю, что делаю.

Не забыл ли я сказать, что маленьким любил бабушку больше всех? Ради нее я часами прижимался лицом к оконному стеклу, надеясь вырасти, как все порядочные люди – курносый. Не то, чтобы бабушка ненавидела евреев, но она всегда о них помнила.

Говорят, с возрастом национальные признаки проявляются острее. Может, потому, что все остальные слабеют. Когда я первый раз бросил курить, то страдал отчаянно – до галлюцинаций. Через несколько лет опять закурил, и опять бросил, но уже без особых мучений. Сперва обрадовался, решив, что у меня воля окрепла, а потом сообразил, что это страсти остыли.

С евреями, однако, всегда сложно. Просто с ними было только на футболе. В нашем классе играли по бразильской системе: четыре-два-четыре. Нападающими были Сенин, Медведев, Устинов и Попов. В полузащите играли полуевреи – Гриша Иври и я, в защите – Якобсон, Гильдин, Канторович и Карпус. На воротах стоял безнадежный Изя Ассинас. На контрольной пирамида переворачивалась. Последние становились первыми, и все норовили списать у вратаря.

Возможно, я слишком много места уделяю национальному вопросу, но это от того, что у меня их два – по одному от каждой бабушки. Как ян и инь, они стоят над моей душой, дополняя друг друга.

Однажды я попал в буддийский монастырь. Лес, горы, каменный будда под американским флагом. Почти все буддисты – евреи. Самый толстый, похожий на карикатуру, держал на койке книжку “Каббала и деньги”.

Настоятеля звали Лурье. По двору он ходил в джинсах, но службу вел в черной робе, помахивая особой мухобойкой – древний символ власти. Лурье учил, что нет лучшего часа, чем тот, который ты не заметил. В монастыре с этим легче. Занятые либо простым, либо непо-

нятным, все тут давали жизни течь так, как будто их нет. Тем, кто обнаруживал, что и в самом деле нет, давали мухобойку.

Как все нормальные, а тем более ненормальные люди, бабушка ненавидела перемены. Новое казалось ей развратом. Она любила шить, но больше перелицовывать. Прогресс пугал ее до столбняка. Бабушка рыдала, когда нам проводили горячую воду. Явление стиральной машины ввело ее в ступор. Она дорожила всем, что повторяется, включая болезни. Она любила искусственные цветы, и все, что рифмуется.

В последнюю встречу бабушка отдала мне тетрадь со стихами – своими и списанными. Первые будто из XVIII века:

*Пока сердце бьется сильно,
Ух! как хочется пожить,
Но когда оно заныло,
Так и хочется тушить.*

Чужие стихи она брала, где придется, отдавая предпочтение переводам с украинского:

*Героя смел и ясен взор,
зовут его теперь шахтер.*

По-украински бабушка говорить не умела. Мне кажется, она не знала, что такой язык существует. В ее дремучей, как летопись, геополитике Украина включала в себя Россию и предшествовала ей. Империя была ее внутренним органом, вырабатывающим чувство государственной принадлежности. Латышей она соглашалась считать соотечественниками и не прощала, когда тех это не устраивало.

Что такое политика, бабушка не знала, но это не мешало ей обладать твердыми убеждениями. Сталина она ненавидела и считала виноватым, когда подгорали пироги. Хрущев был своим – как Тарапунька и Штепсель. Остальными она и не интересовалась. Советская власть для нее кончалась на Шульженко.

У бабушки было таинственное, как телепатия, чувство границы. Все вокруг нее называлось родиной. Она так туго вписывалась в устройство бабушкиной души, что они не смогли расстаться.

– Умру, где Шевченко, – сказала она, отказавшись ехать в Америку.

Никто не знает, что она имела в виду, потому что скончалась бабушка за границей, в Риге. И похоронили ее, так уж вышло, на еврейском кладбище.

Коля

Несмотря на фамилию, Коля Левин был второгодником. Он не мог вызубрить таблицу умножения, хотя учил ее во 2-м классе, и в 3-м, и в 4-м, и в 5-м – три раза.

Из таблицы умножения Коля помнил только то, что множилось на десять. В остальных случаях он старался угадать. Из-за этого Коля так и не научился играть в карты и мучился со сдачей. Скрывая свой несчастный пробел, Коля изобретательно изворачивался, но таблица умножения, как тугая авиационная резина, из которой получались лучшие рогатки, возвращала его к себе.

Меня прикрепили к нему для подтягивания, но умножение нам было ни к чему. Мы интересовались ракетами. Делалось это так. Рулончик фотопленки, которая тогда еще горела, заворачивался в фольгу от шоколадки. В хвост вставлялась спичка серой наружу. Когда ее поджигали, ракета поднималась на реактивной струе, пролетала метров пять и умирала, крутясь на месте. Стараясь удлинить полет, мы сооружали проволоочные стропила – они давали ракете разогнаться – и могли нацелить ее, скажем, в окно, а не под кровать. Толку от этого было немного, но экспериментировать мы не переставали.

Воздух – счастливая стихия: невидимая, веселая, легкая. Даже бумажный самолет кажется в ней грузным, и то, что воздух дружески держит его на плечах, казалось завидным – ангельским – подарком.

Мне нравился в ракетах полет, Коле – взрыв. Взрыв ведь не просто ускоряет разрушение, он придает ему космический характер. Взрыв не сопоставим со своей причиной – как *Big Bang*. Взрывная волна освобождает пленный дух. Переставая быть, вещь салютует небу. Взрывное усилие отличается от волевого, как праздники от будней. Накопленное трудом бытие мгновенно уравнивается своим ликующим отрицанием. Решая этот пример, мы получаем свободу столь чистую, что ее нельзя пустить в дело. Во всяком случае – в мирное время.

Ломать, конечно, не строить, но Коля любил и то и другое, не жалея труда. Разнести склеенный из ломких реек планер казалось ему так же интересно, как целую неделю над ним трудиться. И только невежество спасло Колю, когда он бросил в канализационный люк зажженную шашку тринитротолуола. Для взрыва нужен детонатор, о чем я знал из Жюль Верна, а Коля нет, пока я не дал ему книгу. Она нас окончательно сдружила. Я копировал карту “Таинственного острова”, Коля – рецепт нитроглицерина (не все знают, что для этого достаточно смочить глину смесью азотной кислоты с серной).

Уже после суда, женитьбы и армии Коля держал под кроватью чемодан динамита. Но сперва он обходился бумажными лентами с пистонами, которые пугали только мою бабушку. Потом появился настоящий порох. Коля крал его у отца, у которого он изредка гостил после того, как родители развелись.

По профессии Колин отец был браконьером. Коля даже угощал меня лосятиной, а однажды показал добычу – ванну рубинового мяса. Его хватило на сто банок домашней тушенки.

Раскурочивая украденные патроны, Коля высыпал на стол крупный порох. “Бездымный”, – радовался он.

Порох требовался для акции против соседа, повесившего свой замок на общий сарай. В нем хранились лишние, у всех одинаковые вещи: продавленные диваны, неперенные лыжи, зеркала, помутневшие от увиденного.

Готовясь к бою, Коля собрал полный спичечный коробок. Его хватило, чтобы заполнить все брюхо ржавого замка. Такими запирали наши дивные амбары. Вместо окон у них были стройные кованые двери – по дюжине на этаж. Соединенные вязью переулков, высокие риж-

ские амбары толпились от реки до базара. На этом ганзейском пяточке кончалось средневековье и начинался Запад. В ясные дни, снилось мне, отсюда можно было увидеть Швецию.

Бикфордового шнура у нас не было, но мы обошлись, намочив бельевую веревку в бензине для зажигалок. Взрыв удался. От замка не осталось ничего, дверь снесло, сарай – тоже. В восторге мы бежали с места происшествия, а когда отдышались, обнаружили, что две крупницы пороха обожгли Колину роговицу, обеспечив его особой приметой. Конечно, хорошо, если бы она пригодилась для нашего рассказа, но вряд ли. Колины преступления оставались нераскрытыми, а когда его поймали, никаких примет не понадобилось вовсе. И всё же пусть эти мелкие, как мушинные следы, крапинки останутся на странице, защищая ее от целеустремленности.

Ненужная деталь – гвоздь, на котором повесилась логика. Что еще не страшно, ибо логика не фатальна. Она приходит и уходит, а жизнь остается, предлагая нам выбирать между разумным и действительным.

Все необъясненное нелогично, но это не мешает ему существовать. Чжуан-цзы советовал не пририсовывать ноги змее, даже если мы не можем поверить, что она обходится без них.

Бездельные детали – мука авторского сознания. Они привязчивы, как незавершенный аккорд. Автор не может ни оторваться от безработного эпизода, ни пристроить его к делу. Язва ненужного разъедает бумагу, но избавиться от него еще никому не удалось.

Когда я впервые решился испечь пирог, мне быстро удалось соорудить белесый гробик с начинкой. Уже смазывая тесто яйцом, я заметил дырку меньше шляпки гвоздя. Стремясь к совершенству, я стянул края отверстия, чем удвоил число дыр. Повторил операцию – их стало больше вчетверо. Сражаясь с геометрической прогрессией, я сам не заметил, как параллелепипед стал колобком. С тех пор я не пеку пироги и собираю дырки.

Когда мы подросли, выяснилось, что Коля пользуется успехом. Большеголовый и низколобый, он походил на красивого питекантропа из музея природы. Коля нравился фабричным девицам – в отличие от меня. Отвечая взаимностью, я волочился за ними, шипя от ненависти. Бесформенные, как тюлени, они носили пронзительно короткие юбки, сразу за которыми, впрочем, начинались теплые штаны немарких оттенков. Коле они позволяли всё, мне – ничего, и я вечно ходил с расцарапанными руками.

– Знаешь байкеров? – говорила мне одна из кредитно-учетного техникума. – Это мы.

Я не знал, но терпел, понимая, что надежд на нее все-таки больше, чем на волооких еврейских старшеклассниц, которых полагалось водить в филармонию.

Коля туда не ходил. Он не интересовался искусством. Он любил технику и крал мопеды. Коля не мог устоять перед всем, что движется. Он часто уговаривал меня не тянуть лямку жизни, а, дожив до тридцати, врезаться на мотоцикле в стенку. Мотоцикла у него, правда, не было, но однажды он привез из Пярну эстонский студебекер без тормозов. Коля клялся, что по дороге ни разу не остановился на светофоре.

Я не участвовал в его приключениях. Мне хватало доставшегося от брата пудового велосипеда, который назывался “трофейным”. Возле руля, на шее, виднелся грубый шрам от сварки. Велосипед был моей первой и, наверное, последней любовью. Все, что сложнее вилки, мне дается с трудом. Я ненавижу механизмы, начиная со складного зонтика. Но велосипед – дело другое. Он воплощает меру и охраняет справедливость. Особенно в холмистой местности, где ветреная радость спуска благоразумно предвещает похмелье подъема. К тому же, вверх ехать куда дольше, чем вниз, что и понятно. Счастье мимолетно, иначе б нам его не выдержать.

Господи, где то утро? Нежарко, часов восемь, мне двадцать пять. По дороге на работу накатывает обжигающая, как прорубь после сауны, схватка счастья, предвещающего нужное будущее. Мне досталось больше, чем просил, но меньше, чем хотелось.

Еще картинка, как цитата из Чуковского. На полу играет сын, жена возится с шитьем. Дальше надо лезть в прошлое. Скажем, восемнадцать, первые пьянки с их творческим пафосом. Тогда же – весенний огурец. Мы растянули его на целый день в пустынных дюнах взморья.

Кроссворд – мы разгадывали его, когда я забрался к родителям в постель. Мне от силы двенадцать.

А вот уже десять. День рождения, грипп, но тут мама приносит из академической библиотеки тома Брема с ласково льнущей к рисункам папиросной бумагой.



Дальше – ничего, в другую сторону – тоже. Только привычная зависть к пропавшему времени.

Я обходился своим трофейным велосипедом. Мопеды мне были ни к чему. Коле, впрочем, тоже. Воруют ведь что попало. Запах чужого будит чувственность и пьянит, как весенний ветер.

Я знаю, что у каждого писателя был блатной учитель жизни, но мне не повезло. Того, кого я знал, звали Тайгой. Он унес из интерната глухонемых мешок глобусов. Мне так и не удалось его понять, потому что, считая “бля” союзом, он не справлялся с грамматикой. Точно так же говорили начальник рижской тюрьмы, за дочкой которого успешно ухаживал Шульман, и командующий Прибалтийского военного округа со смешной для генерала фамилией Майоров. Его жена учила нас выразительному чтению.

Склонность к технике помогла Коле с незаконченным (мягко говоря) образованием устроиться на телефонную станцию монтером.

В те времена каждому было место. Люди ученые шли в сторожа, наглые – в вахтеры, корыстные – в букинисты. Мой пунктуальный знакомый гасил свет в витринах. Другой охранял кровать, на которой однажды спал Ленин, третий коллекционировал антиквариат, проверяя счетчики. Брат мой служил окномоем, я – пожарным. Сильные поэты работали могильщиками, слабые – в саду, хитрые – в архивах. Сектантов брали в зоопарк, отказники разгружали вагоны.

Любовно оглядывая эту деловитую, как в “Незнайке”, компанию, я понимаю, что наш КПД был не больше, чем у паровоза Черепанова, но Коля и тут выделялся: пользы он не приносил решительно никакой, вред же от него был весьма очевидным.

Телефон Коля не мог починить, потому что не знал, как тот устроен, но это его не останавливало. Коля любил технику безвозмездно. Ему вовсе не нужно было, чтобы она работала, а если она это все-таки делала, Коля не оставлял ее в покое, пока она не переставала.

Работой Коля дорожил. Добравшись до очередного телефона, он разбирал все, что открывалось, и подолгу смотрел на детали. Потом потягивался и веско говорил:

– На станции.

– Токи Фуко, – вежливо добавлял я, если составлял ему компанию.

Коле давали на чай, и, став на ноги, он задумал жениться, не дожидаясь восемнадцати. Но тут случилась катастрофа. Однажды, когда Коля, отослав хозяйку за бутербродом, мирно трудился над телефоном, его взгляд упал на рояль. Под нотами лежала пачка десятков.

Когда я вновь встретился с ними в Америке, они показались душераздирающе маленькими, но тогда в 10-рублевой купюре еще звенел червонец. Из нее выходило три пол-литра или пива без счета. При этом десятка была предельной суммой. За ней начинались взрослые деньги, вроде 25-рублевого билета, который ни на что не делился и откладывался на пальто.

Увидав столько денег, Коля не растерялся. Не мешкая, он смел их в кулак и помчался к двери, свалив в коридоре хозяйку с тарелкой.

Поскальзываясь на снегу, Коля бежал по рельсам, пока не догнал трамвай, увезший его в далекий Межапарк. Только там Коля пересчитал десятки: их было тринадцать. Сперва он решил справить свадьбу, но, затаившись минут на двадцать, передумал и принялся тратить.

Его первой покупкой стал карманный вентилятор. На холодном ветру не удавалось понять, хорошо ли он работает. Чтобы проверить, Коля отправился в кинотеатр “Рига”, украшенный вопреки названию гипсовыми пальмами. В зале было душно, но вентилятор так ревел, что Колю пригрозили вывести. Устраняя дефект, он разобрал аппарат на ощупь, но в темноте потерялась батарейка. Со злости Коля ушел из кино, так и не узнав, чем кончился латышский боевик “«Тобаго» меняет курс”.

Десяток оставалось еще много, и он пришел ко мне за идеями. От разговоров нам захотелось пить, и мы купили самое дорогое – малиновый сироп с двоюродной болгарской этикеткой. Коля хотел открыть бутылку по-пиратски – отбив горлышко, но она раскололась по ватерлинии. Верхней частью Коля сильно порезался, а то, что осталось на доньшке, не лилось. Вымазанный кровью и сиропом, Коля стал походить на упыря, и мы решили продолжить разгул, когда он отмоемся.

Дома его, однако, ждала милиция. В чужой квартире Коля оставил сумку с казенной отверткой и личными вещами – противогазной маской и бульонными кубиками. Там же лежало удостоверение с Колиной фотографией и номером рабочего телефона. Звонить, впрочем, было неоткуда, и в участок пострадавшая добралась пешком.

Только много лет спустя я понял, о чем думал Коля, оставив на месте преступления все улики, которые у него с собой были. Коля не мог не знать, что его поймают. Он знал, но не верил, как не верим мы, что умрем, твердо зная, что этого не избежать. Коля не считал наказание следствием преступления. Одно для него не следовало за другим, а соседствовало с ним. Жизнь его состояла из независимых монад, каждая из которых рождалась и умирала, не оставляя будущему потомства.

Теперь я часто пытаюсь поставить себя на Колино место, но у меня не выходит, и я пишу о том, чего не знаю, но о чем смутно, чаще во сне, догадываюсь. Я верю в то, что пишу, но не живу по своей вере. На бумаге я воспеваю то, что недоступно мне в жизни – безрассудную удаль, беспредельную свободу, беспробудное пьянство.

Шагреневая кожа моих сочинений устроена таким образом, что жизнь ходит за мной по пятам и стирает влажной тряпкой все описанное. Это, конечно, неприятно, потому что пишу я о том, что люблю: о холодной водке, богатых щах и нерушимой дружбе.

Колин суд мне понравился. На процессе фигурировала моя первая статья. “Человек, – писал я в ней, – это *tabula rasa*, на которой оставляет свои скрижали пионерская организация”. Статью горячо обсуждали и приобщили к делу как вещественное доказательство мятежности Колиного духа. Но от тюрьмы его спас не я, а возраст. К моменту кражи Коля все еще не был совершеннолетним, и вряд ли он им стал с тех пор, как мы расстались.

Субботник

Писать я научился раньше, чем читать. Меня обучил грамоте дядя Сема, самый образованный из нашей киевской родни. Мастер игры и виртуоз духа, он был артистом оригинального жанра: играл в шапито на тромбоне. Главным в его номере была выдержка. Как только он принимался играть, на арене появлялся рыжий клоун. Он завидовал дяде, как Сальери Моцарту, и вел себя не лучше – пихался и толкался, пока от тромбона не отваливался кусок. Дядя Сема выводил свою песню на том, что осталось, только октавой выше. Свирепея от обиды, клоун вновь бросался за инструмент, но музыка продолжала жить даже тогда, когда дяде приходилось извлекать ее из огрызка не больше милицейского свистка.

Посрамленный клоун убирался за кулисы, а вместо него на манеж выбегала тетя Вера с тремя болонками – по числу граций. Делая вид, что не узнает мужа, тетя Вера пугалась дородного мужчины, свистящего соловьем-разбойником, но собакам он нравился, и они крутились на задних лапах, пока всю компанию не уводил шпрыхшталмейстер.

Цирк я с тех пор не люблю, но с циркачами дружил, особенно с воздушными гимнастами. По Шкловскому, цирк – публичное преодоление трудностей. Никто не станет смотреть на силача, жонглирующего картонными гириями. Артисту должно быть трудно, а нам страшно.

Перемножив обе части уравнения, мои приятели додумались кувырнуться над ареной с тиграми. Расчет был на простодушную публику, но другая в цирк и не ходит. Трапедия висела под куполом, и присутствие хищников ничего не меняло в раскладе: упавшим было все равно, а остальным животные приносили немалую выгоду на заграничных гастролях. Из украденных у тигров костей циркачи варили суп в гостиничном биде. От голода звери делались покладистыми, но вид их все же внушал такой страх таможенникам, что на обратном пути мои друзья прятали в клетке “Плейбой” и “Раковый корпус”. Солженицын, как джинн из “Тысячи и одной ночи”, возвращался на родину в сопровождении тигров и гурий.

Дядя Сема тоже мечтал о загранице. Он хотел показать свой неустрашимый тромбон Америке – на родине его все уже видели. Притязаниям дяди Семы придавало вес то обстоятельство, что фамилия гремевшего тогда в Нью-Йорке импресарио Сола Юрока лишь на одну – отсутствующую – букву отличалась от той, что носила в девичестве моя бабушка Анна Гурок.

Совпадение, однако, оказалось случайным, ибо Юрок пригласил в Америку Большой театр, а дядя остался дома, в длинной, как вагон, квартире. Вместе с женой, собаками и хронически безработной мартышкой он занимал в ней треугольную комнату, лучшая часть которой была отдана платяному шкафу. Его сорванная еще до войны дверь то и дело падала на пол, угрожая прихлопнуть кого-нибудь из питомцев.

В этой огромной киевской семье ничего толком не работало. Женщины занимались спекуляцией, мужчины сидели – либо за хищение социалистической собственности, либо за недоверие к ней. Часто это были одни и те же люди, что уже в детстве мне казалось нелогичным. Несмотря на нездоровый образ жизни, все они дожили до старости, особенно – дядя Миша. Вернувшись разочарованным с войны, которую он упорно называл “империалистической”, дядя Миша навсегда бросил работать. Поэтому ему не оставалось ничего другого, как быть нетребовательным в быту. Зимой и летом он ходил в галошах на босу ногу. Чтобы они не спадали с ноги, дядя Миша привязывал их бумажной бечевой, но она так быстро перетиралась, что он выходил из дому лишь к щиту, где власти вывешивали “Радянську Україну”. Прочитанным он ни с кем не делился. Убедившись на своем долгом веку, что все газеты рано или поздно становятся запрещенной литературой, он не хотел ставить родственников в глупое положение.

Кроме него, газет никто не читал, но книги были у всех. Их вручали передовикам производства. Наши туда попадали так редко, что бабушкина домашняя библиотека занимала верх-

нюю полку этажерки, оставляя вдоволь места пузырькам, пиллюлям и одноногой Улановой. В фарфоровом кулаке балерина сжимала крохотную фотографию Большого театра, поехавшего в Америку вместо дяди Семы.

Чтобы научить меня читать, он достал букварь по благу. Их продавали только первоклассникам, до чего мне было далеко. Букварь производил неотразимое впечатление. Его словговая поэзия завораживала шаманским шепотом: “жи-ши-пиши-через-и”. Азбучные мантры будили неведомое, таяли во рту и ровным счетом ничего не значили.

Пижон мог бы увидеть в букваре эскиз обэриута, неوفиту он нес благую весть. Букварь открывал законы сложения, позволяющие накинуть паутину письма на пестрый хаос вещей и явлений. Мир бесконечен, говорил букварь, но не произволен: в нем может быть все, но не все что угодно.

Мне хотелось бы прочесть книгу, написанную в тюрьме, гареме, лабиринте, на необитаемом острове, “Титанике”, Эвересте, перед казнью, на кресте, под венцом, в колодце, стоя в углу, сидя на горшке или лежа на горошине, но сам я пытаюсь написать что-то бесхитростное: “Маша ела кашу”.

Я, впрочем, больше люблю лисички – они не бывают червивыми. За это их прозвали еврейскими грибами. Из лисичек готовилось восхитительное жаркое, но по торжественным дням за столом царила тучная курица. Из-за нее каждый праздник кончался скандалом. Когда птицу разрезали, то крылышки доставались дочкам, чтобы убрались скорее из дома, гузно – хозяйке, чтобы она, напротив, не покидала очага, а ножки, считавшиеся лакомыми кусками, кочевали по тарелкам, пока их не выбрасывал в окно обремененный артистическим темпераментом дядя Сема. Как художник он презирал “еврейский баскетбол”.

Кстати сказать, Мандельштам, вспоминая дедушку, жившего на улице Авоту, в двух шагах от того дома, где я жил в Риге, писал, что дед знал по-русски одно слово: “кушать”.

Съестного хватало и в букваре, открывавшемся полосатым, как курортная пижама, арбузом. С него начиналось знакомство с алфавитом. Непререкаемость его авторитета не перестает меня восхищать. Из арбузов, барабанов и гусей он составляет ребус просветления. Разгадавшим коан букваря открывается власть над миром, на описание которого русской азбуке хватает 33 букв, а другим и того меньше.

Задолго до того, как выучил их все, я начал писать свой первый рассказ печатными буквами. Обходясь без “э” и “щ”, я ринулся в бой с авторской самоуверенностью, которую мне с тех пор не удалось вернуть. Но дело шло туго – как и сейчас, мешали буквы, больше всего – “к” и “я”. Их конечности выпирали не в ту сторону. Мои первые читатели говорили, что таких нет в русском языке. “В моем – будут!” – отвечал я сквозь слезы. Хотя действие рассказа проходило в джунглях Амазонки, я, считая его глубоко личным, даже интимным делом, полагал себя вправе пользоваться тем языком, которым хотел. “Язык принадлежит всем и никому”, – увещевали взрослые, не подозревая, что задают мне задачу на всю оставшуюся после завершения тропического опуса жизнь.

Из него так ничего и не вышло. Рассказ застопорился на слове “металлургический”, которое мне не удалось изобразить на бумаге. Думаю, что больше я его ни разу не употребил, но в том, первом рассказе оно было совершенно необходимым. Согласно тогдашним моим религиозным убеждениям, которые отличала давно исчезнувшая определенность, в этом слове заключалась власть над всем словарем. Не исключено, что так и было, если вспомнить, что в те годы сталь еще всему была мерой. Metallургия, превращающая холодное в горячее, твердое в жидкое и серое в красное, считалась патриотическим промыслом. Сталь варили в домнах – домах столь больших, думал я, что взрослым пришлось вставить в них лишнюю букву – “н”.

Она, кстати сказать, мучила меня не меньше советской власти. Как редкие звери в зоопарке, “н” размножались, когда хотели, причем часто в неподходящих местах: стеклянный, деревянный, оловянный.

Ошибки всю жизнь гонялись за мной орфографическими фуриями. Я пробовал все – зубрил правила, корпел над упражнениями, практиковал исключения. Развивая по методу сюрреалистов навыки автоматического письма, я написал сотни диктантов, познакомивших меня с самыми скучными страницами Тургенева. Не помогало ничего. Ошибки сторожили меня, как тени в подворотне. Пугаясь неведомого, я падал в грамматическую лужу, поскользнувшись на каком-нибудь незатейливом окончании. По-степенно я примирился с неизбежным. Безупречность уместна в эпитафиях, но только грех порождает живое. Утешившись лживым афоризмом, я почувствовал, что ошибки стали мне физиологически близкими – как почерк.



Самую большую ошибку я делил со всей страной. Я имею в виду субботник. Меня угораздило им заразиться от первой же прочитанной книги – “Первоклассницы” Евгения Шварца. Она открыла мне глаза на то, что и Конфуций называл счастьем – учебу: свободный труд свободно собравшихся детей. Не зная школы, я ждал ее с трепетом жениха. Сокращая разделявшую нас бездну дней, я – всё теми же печатными буквами – выполнял упражнения из учебников моего спортивного брата. Риторические упражнения, которые мне предлагалось переписывать, вставляя пропущенные буквы, искушали категоричностью суждений: “Весна – утро года, а Москва – столица нашей родины”. Тире, графический символ вселенского сальдо, подводило черту (продолговатую, а не купую, как запанибратский дефис) под историей вопроса. Оно выдавало себя за спрессованную сумму предыдущей мудрости. Как квадрат Малевича, оно интегрировало все живое в свою молодцеватую геометрию. Тире перечеркивало сомнения даже тогда, когда про “столицу нашей родины” писали латыши.

Первое знакомство с тире ошарашило меня, как Колумба Америка: мы оба приняли наши открытия не за то, чем они были на самом деле. Чтобы замкнуть земной шар, Колумбу пришлось изъять лишний континент. Поверив тире, я счел возможным принести в жертву краткости длинные растрепанные мысли, которые оно, тире, предательски заманивало, обещая подвести им итог. Беда в том, что спровоцированная тире краткость постепенно обесценивает страницу, как порченная монета. Лаконизм отрывает письмо от мысли. По дороге к афоризму текст вырождается в тождество, но, если одно равно другому, не стоило открывать рта.

Скользя по поверхности, тире мешает сказать, что в глубине покато́й жизни скрыта нежная и нервная сеть мира. Мы бродим над ней, задевая струны то своей, то чужой души, не умея разобраться в тонкой вязи, уходящей в плодородную тьму, куда нам никогда не добраться. Этот ковер корней иногда называют кармой. Следуя ей, гусары играли в тигра.

Правила этой старинной забавы собирают за круглым столом компанию офицеров. Спустив штаны, каждый привязывает к гениталиям бечевку и пропускает ее сквозь дыру в столешнице. Тщательно перепутав веревки, игроки, дождавшись сигнального клича “Тигр пришел!”, что есть силы тянут за доставшийся им конец. Прелесть игры в том, что никто не знает, мучает он друга или врага, союзника или соперника, себя или соседа. За этим столом, в отличие, скажем, от карточного, царит не слепая фортуна, а разумная воля. Держась за нити судьбы, каждый настолько упивается властью, насколько может ее вытерпеть. Такая ситуация освобождает от страха Господня: мы твердо знаем, что наша судьба в наших руках. Жалко только, что это верно для всех, но не для каждого.

Коммунизм, верил я, обрывает связывающие людей путы, чтобы сделать из коллективной пытки субботник. Заменяя Сада Мазохом, он скреплял трудом то, что держалось мстью. Бескорыстие субботника делает трудовое усилие спортивным, бригаду – командой, цель – неважной. Если разделивший человека конвейер есть ад труда, то рай его – слепляющий нас субботник. Не посягая на личную свободу, он просит ее взаймы – как джазовое трио. Этим субботник напоминает и свальный грех, где каждый торопится внести свой вклад.

Наслаждаться субботником мне мешала анти-советская агитация и пропаганда, которая велась у нас дома. Как в каждой семье, где уважали Хемингуэя, читали Евтушенко и слушали Высоцкого, отношения с режимом у нас складывались безлюбковые. Ненавидя власть, отец был равнодушен к ее проделкам, но мне советовал держаться от нее подальше.

Подражая взрослым, я перегибал палку. Сторонясь коллектива, я презирал все, что тому нравилось. Мое детство обошлось без пионерского задора: я так кривлялся, что меня сперва приняли, а потом исключили из пионеров на торжественной церемонии в Музее революции. Он размещался в Пороховой башне, самом пугающем здании города, если не считать сталинской высотки, отведенной под Дом колхозника, но захваченной Академией наук, где работала моя мама.

Что касается построенной крестоносцами башни, то она казалась слишком большой для советской истории, которая в Латвии была существенно короче. В скупо освещенных бойницами залах томилось имущество красных стрелков: ложки, кружки, пулемет максим.

Сегодня наследство крестоносцев вновь стало средоточием государственности, и там, где раньше был Дворец пионеров, сейчас расположилась президентская резиденция. Первым ее занял Ульманис, внучатый племянник довоенного диктатора, по безалаберности – или из прозорливости – сохранивший громкую фамилию. Раньше он служил директором дома быта.

Поселившись в крепости, Ульманис начал принимать посетителей. Одним из первых оказался мой знакомый физик, ставший флотовладельцем. Хотя гость давно познакомился с хозяином, заказывая у него брюки, на новой территории встреча проходила церемонно. Из-за шторы выскочил немолодой мужчина, одетый в цвета латвийского флага. Помахав затянутыми в красно-белое трико ногами, он проделал пируэт и согнулся в глубоком поклоне. Герольд кстати, тоже был не чужим в этой компании. В прежней жизни он служил капитаном ГАИ и штрафовал всех участников аудиенции.

По праздничным дням я не ходил на демонстрацию, помня, чему она посвящена. Других это не смущало. Сбиваясь в теплую кучу, они без задних мыслей разливали ситро и портвейн. Чужой праздник прокатывал мимо, цокая копытами и каблуками по нашим сизым булыжникам. Я смотрел на него со стороны, а думал, что свысока.

К субботникам, как и ко всему запретному, меня приобщил отсталый друг Коля. В его дворе с зиявшей воронкой от взорванного нами сарая соседи потерпевшего затеяли клумбу. Отнюдь не угрызения совести побудили нас принять участие в облагораживании пейзажа, обезобразить который нам стоило столько сил и умения. Азарт преобразования окружающей среды не зависит от вектора.

Как всякое дело, субботник начался с того, что взрослые закурили, обмозговывая предстоящее. Взвесив трудности, они скинулись и отправили нас в магазин, снабдив по малолетству запиской. Потом, сдержанно отложив принесенное, мужчины принялись рыть, женщины сажать, мы – вертеться под ногами. Трудно поверить, но от всего этого прямо из неприбранной земли поднималась клумба. Работа спорилась. Всякое – а не только разумное – усилие делало клумбу лучше. Каждая – а не только счастливая случайность – служила ей украшением.

Уже на излете трудового героизма, иссякающего под лучами высокого солнца, согревавшего бутылки, клумбу завершил саженец клена. Мне, как не отличавшемуся от него ростом, доверили сунуть деревцо в землю.

Навестив клен четверть века спустя, я с трудом залез на него. Дерево выросло таким развесистым, что на ветках легко было перевешать всех моих противников. Их, впрочем, не так уж много. С возрастом мы делаемся скучнее. Как римляне периода упадка, мы пропускаем вперед представителей продвинутых формаций.

К пятидесяти, почти исчерпав марксистскую хронологию, мы застываем в том снисходительном состоянии, когда, перестав бояться варваров, мы еще не смешались с ними.

К пятидесяти, скрывая отвращение, ты смотришь на наследников. У них все короткое – волосы, мысли, дыхание, даже застолье. Выхватывая куцые куски настоящего, они забывают о прошлом и не верят в будущее. Шутки их прямы, и всем средствам они предпочитают грубые. Они ценят простоту, быстроту и схватку. Они полны собой, глухи к обидам и цельны, как редиски. Они говорят лишь друг с другом, обходясь птичьим наречием. И ты, как Назон у даков, учишься этому языку у варваров. Заменяв разум рефлексам, они совсем не нуждаются в том, что позволяет тебе овладеть пространством и временем – в союзах. Считая до трех, и то на доллары, они не помнят, что идет за чем и почему. Но, чтобы стать понятным тем,

кто не отличает сложноподчиненного предложения от примуса, ты сдаешься их синтаксису, исчерпывающемуся неостановимым, как икота, “и”, чтобы обнаружить, что он тебе нравится.

В жизни у меня было немало связей. Застарелая – с прилагательными, случайная – с каламбурами, законная с глаголами, но только с лысиной пришла любовь к сочинительным предложениям. Мысли в них стоят рядом, как взрослые и независимые любовники. Свободный труд свободно собравшихся идей, живущих в простоте. Желательно – на природе. Но и там лучше не писать пейзажи, а подражать им. То, что вырастает из земли, выгорает на солнце, разбавляется дождем и сохнет на ветру, называется не простым, а элементарным. Но в школе меня этому не учили.

Мою первую учительницу звали Ираида Васильевна. В школу она пришла по призванию, но из органов. У Ираиды Васильевны был стальной взгляд, железная хватка и золотые зубы. Ее единственной любовью был Александр Матросов, и она всех нас хотела бы видеть на его месте. Двоечники внушали ей больше надежд, и она все прощала тем, кто умел шагать в ногу.

Я не умел. Нетвердо отличая левую ногу от правой, я хотел знать, почему первая важнее второй. Я вообще хотел все знать, что даже меня раздражало. Не говоря уже об одноклассниках. Они сделали все, чтобы науки не давались мне даром.

У каждого возраста – своя валюта. У подростков – дружба, у молодых – любовь, у взрослых – слава, у стариков – деньги. Дети, понятно, беднее всех. Они не доросли до символики обмена. Не накопив социальных отличий, они полагаются только на себя и всегда дерутся – как три мушкетера.

Мне это не нравилось. В драке нельзя выиграть. Даже если ты победил, совершенно неясно, что делать с поверженным противником. Я своему – форварду Женьке Устинову – одолжил расческу, но он все равно вырос, спился и умер.

Атеисты

Диплом с отличием мне не достался из-за четверки по атеизму. Я получил ее за богоборчество. “Бога нет”, – говорил мне старший брат, но он был двоечником. Из педагогических соображений от меня это скрывали, но я все равно знал, что в школе ему давалась одна физкультура. Гарик хотел стать летчиком, но еще больше ему хотелось поставить три стула друг на друга, выдернуть нижний и посмотреть, что получится. Не удивительно, что Гарик оказался в армии, где его учили не летать на самолетах, а сбивать их, что не привило брату уважения к небу.

Окончательно это выяснилось в Бруклине. Свое первое американское жилье мы сняли в самом центре этого большого, но тесного, как грудная клетка, района. Евреев в Бруклине живет больше, чем в Иерусалиме, поэтому из окна нашего светлого подвала можно было добросить снежком до любой из четырнадцати соперничающих синагог. Тем более, что зима выдалась снежная. Обрадовавшись ей, мы только собрались отмечать праздники, как начались трудности с елкой. Мы ее простодушно называли “новогодней”, соседи – “рождественской”. Они же объяснили неуместность христианской флоры в нашем районе.

Чтобы не огорчать их, мы, дождавшись сумерек, отправились за елкой к неграм. Гарик надел на нее мое пальто, и мы побрели домой, держась поближе к стенам. Только на полпути до нас дошло, что со стороны мы похожи на убийц, а вблизи – на сумасшедших.

С тех пор по субботам Гарик жарил картошку на сале, злорадно открывая окно, выходящее на ближайшую синагогу. Евреи, однако, реагировали не так нервно, как ему хотелось бы. В Америке сало едят одни синицы, и то зимой. Зато сало обожали обе мои бабушки. Русская явно, еврейская тайно. Первая клала его в борщ, вторая ела так, успокаивая совесть самодельной пословицей: “Если есть свинину, так уж жирную”. В их трагически невинной жизни грехи и соблазны редко выходили за пределы кухни. В Бруклине, впрочем, тоже, если не считать драки, которую учинил ладный Сеня Жуков.

В прошлой жизни Жуков любил танцы. Он был хореографом областного масштаба – ставил пляски на стадионах Полтавщины. Привыкнув к размаху, Сеня мыслил флангами и спал с кордебалетом. Работа не оставляла Сене выхода – в одном только танце “Урожайный” на футбольное поле выходило триста гривуазных колхозниц, наряженных снопами.

Чтобы отвлечь тихую жену Бэллочку, Сеня завел трех сыновей, но это не помогло. Жена затаила обиду на Полтавскую область. Она считала ее рассадником разврата и – заодно – антисемитизма. Чтобы забыли о первом, Сеня напирал на второе. Так семья Жуковых оказалась в Бруклине.

На первых порах им приходилось трудно. Пособия хватало на еду и дешевую водку “Алеша”. Из мебели в доме стояла метровая менора, подаренная молодыми хасидами. Они-то и подбили Сеню обратиться к Богу. Хасиды посоветовали Жукову разделить их веру, что принесет ему духовную радость и материальную выгоду. Уточнив, что хасиды обещают по 2000 долларов, так сказать, на нос, Сеня предложил Богу не только себя, но и все свое обильное чреслами потомство. Выгода казалась ошеломительной, операция – простой.

На праздник, отмечавший удачный исход предприятия, к “Алеше” подавали фаршированную рыбу. Сеня наливал, хасиды не пропускали. Каждую рюмку Жуков деликатно сопровождал тостом об еврейской доле, которую он взвалил на свои украинские плечи. Хасиды кивали, но деньгами не пахло.

Когда стали расходиться, Сеня заглянул под менору. Долларов не было и там, зато выяснилось, что на обрезании Сеня сэкономил 8000. Узнав, что Жуковы стали евреями даром, Сеня вышел из себя, сломал об хасидов менору и перебрался в Канаду. Там он поставил с украин-

цами Виннипега сатирический гопак “Запорожцы пишут письмо Андропову”. Партию запорожцев исполняли терпеливые славистки, которых Сеня не без отвращения хватал за ляжки.

Мы следили за карьерой Жукова из Бруклина, где я, наученный его примером, посвятил Богу свою русскую жену. За 7 долларов в час она переводила эмигрантскую брошюру “Шавуот для новых американцев”.

Между тем вокруг сгущались тучи. Мы узнали об этом в синагоге, где выступал раввин-боевик Меер Кахане. Гордо неся бремя экстремиста, он охотно делился им с бруклинскими земляками.

– Ребе, – волновались они, – что нам делать с неграми? Они – всюду.

– Пусть у каждого, – гремел Кахане, – лежит под кроватью автомат. Не ружье, не пистолет – автомат!

– А, – с облегчением вздыхала полная Рая из Кишинева, – тогда, конечно, другое дело.

Но Рая, видимо, не завела автомат, потому что, когда пять лет спустя я проезжал мимо нашего прежнего дома, на месте четырнадцати синагог стояло четырнадцать церквей враждующих конфессий.

Негры крестили Бруклин с упорством крестоносцев, но и они не убедили Гарика. “Бога нет”, – повторял он, а мне этого было мало. Отчасти потому, что я его видел – на картинках Жака Эффеля, где Бог в одной рубашке пересказывал Адаму наш учебник “Природоведение”. К тому времени я уже перестал его бояться, как раньше, когда мы с бабушкой не отличали Бога от смерти. Чтобы спрятаться от нее, я хотел переселить бабушку в наш книжный шкаф с тугими стеклянными дверцами.

Многие мои знакомые так и делают. Они надеются найти Бога в книгах. Евреи, скажем, вычитали себе целую страну. Я был в Израиле. Я видел, что весь он соткан из мечты и преданий – как “Диснейленд”. Библия служит Израилю строительным проектом. Здесь высаживают только то, что упомянуто в Торе. Ведя происхождение от одной книги, евреи считают себя братьями. Это не мешает им разделиться на сорок колен, когда дело доходит до брака. Отдавая дочку замуж, каждая мать помнит, что зять из Западной Европы лучше, чем из Восточной, что одеситы хуже москвичей, что американские евреи – идиоты, румынские – жулики, польские – воры. Сефарды в расчет не входят.

Стена плача – единственное место, где евреи опять равны, кроме женщин, конечно. Уже этим оно напоминает баню. Окунувшись в теплые волны благодати, тут отпускают душу на волю. Молодежь неистовствует, как на рок-концерте. Старики посапывают. Одни выпивают, другие закусывают, третьи читают газету, и все ждут чуда, неизбежного, словно закат.

Вечерний ветерок, пропитанный духом, словно баба ромом, незаметно обволакивает тело, расслабляет члены и облегчает сердце. Гаснет зависть, гложут страсти, меркнут желания. Все, как в парной, становится неважным. Молиться больше не о чем. Присутствие истины неоспоримо, когда ее не ощущаешь, будто теплую воду. Блаженная пауза ждет за воротами, но обычно мы сталкиваемся лбами, когда пытаемся из них выйти. В одиночку легче плакать, чем смеяться.

Правда, друг моей юности Шульман умел обходиться без компании. Он хихикал, листая “Капитал”. Защищая марксизм, Шульман настаивал на его более тесной связи с Гегелем, чем утверждали власти.

Подобно многим книжникам Шульман был неопределенного роста и сомнительного сложения. Внешность ему, как кубинским барбудос, заменяла борода. Любимыми словами Шульмана были “возьмем” и “пусть”. Первое тянуло за собой второе. То, что бралось ниоткуда, приходилось селить в никуда. Поэтому шульмановские “возьмем” и “пусть” влюбленно кружились в умозрительном вальсе, ни на что, как и сам Шульман, не обращая внимания. Из газеты

Шульмана выгнали за то, что он перепутал снимки, выдав делегацию варшавских коммунистов за липайскую ткачиху Майю Капусту.

Лишившись трибуны, Шульман нашел себя в утильсырье. В лавке старьевщика он наконец приобрел власть над бумагой. “Макулатура, – гордо объяснял он мне, – загробная форма существования книги”.

В нашей затейливой, как я теперь вижу, жизни макулатура занимала непомерное место. Бумажный голод жег страну, помешанную на контроле, учете и изящной словесности. Мне тоже довелось участвовать в севообороте знаний, но я приносил с каждого сбора больше, чем уносил. Это пагубно отражалось на моей репутации. Чтобы прибавить ей веса, я подложил в пачку газет домашний уют, но был пойман и наказан – дважды. Это не помогло. Я не мог устоять перед старыми календарями, скабрешными выкройками, амбарными книгами и записной книжкой юного снайпера, которую я привез даже в Америку.



Полюбив книги, я до сих пор их нюхаю. В плотской страсти к духу есть нечто развратное, но евреи часто любят так книги. Попав к букинисту, Шульман ведет себя, как слепой в борделе, – щупает переплеты, не переставая смущенно улыбаться. В нем говорит генная память о гетто. Молясь о просторе, цадики имели в виду столько места, чтобы разложить книгу на столе, а не коситься в полураскрытые страницы. Вырваться из тесноты можно было, лишь воспарив. Поэтому и у Шагала все летает – люди, дома, коровы.

Аэродинамические свойства книги меня тоже соблазняли. Мне тоже хотелось добиться естественного сверхъестественным путем. Скажем, стать невидимкой, чтобы попасть в женское отделение бани. Я еще не видел в чуде насилия над природой и жаждал его, не веря, что жизнь даст сама. “Не насилуй невесту”, – писал Горький, зная своих читателей.

Тому же учил мой вечный наставник Пахомов.

– Зачем Бог, если есть пиво? – спрашивал он.

Русский по душе, происхождению и профессии, Пахомов делал на работе то, чего евреи стеснялись: резал родине правду в глаза. В свободное время Пахомов обижал евреев и завидовал им. Не найдя в себе иудейской крови, он выдавал себя за цыгана. Как и они, Пахомов ни в чем не знал меры. Он обладал тем избытком эрудиции, который Шопенгауэр называл грацией. Так боксер орудует штопором.

Зная все, Пахомов ничего не скрывал и никого не стеснялся. Начальники его избегали. Будучи от природы трусоват, он с ними всегда соглашался, но от простодушия мог и зарезать.

– Как я рад, – обращался к нему директор “Радио Свобода” с той елейностью, с какой евреи говорят с православными, – что в Кремле вновь звонят колокола.

Забыв задуматься, Пахомов отвечал по-пушкински:

– “Кишкой последнего попа последнего царя удавим”.

Поклонники Пахомова обожали, особенно – сумасшедшие. Среди моих корреспондентов преобладали западники, вроде петербургского доктора, задумавшего стерилизацию всех соотечественников. Пахомову писали патриоты. В том числе орегонский поэт Иван Русский. Его фамилия писалась с одним “с”, а поэма начиналась с верхнего до: “О, родина! Ты – сука”.

Не прячась от славы, Пахомов предавал свою почту гласности: “Барский голос столичного профессора”, – читал я в одном письме, когда меня прервал проснувшийся адресат.

– Сашка, – важно сказал он, – я, кажется, расслабился.

Из штанов и правда капало, но водка не умаляла пахомовского гения. Тем более что чаще он пил пиво.

Всему лучшему в себе Пахомов был обязан книгам, в основном – запретным. Его отец начинал телеграфистом, а закончил в ЦК. Чтобы заполнить пробел между двумя профессиями, ему пришлось овладеть третьей – ненадолго стать конвоиром. Пахомов гордился тем, что отец взял на душу лишь один эшелон.

Принципиальная неопределенность этой русской меры вины напоминает о квантовой механике и удачно вписывается не только в нашу историю, но и географию.

– Где это, Соликамск? – как-то спросил я из праздного любопытства.

– Две ночи от Перми, – непереводимо ответили мне.

Пока отца не посадили, Пахомов жил в материальном достатке и интеллектуальной роскоши. Его возили в школу на машине, обитой настоящей, хоть и не человеческой кожей. Молодость Пахомов поделил между пивной и спецхраном. Не отличая одно от другого, он жадно впитывал знания, пока не стал философом. Превзойдя мудростью всю кафедру марксизма-ленинизма, Пахомов остался без работы и уехал в Израиль, точнее – в Нью-Йорк. С тех пор он себя презирал, а других ненавидел. Познав печаль любомудрия, он не говорил, как мой брат, что Бога нет, он спрашивал, зачем Он мне нужен.

– Ты хочешь жить вечно? – рычал на меня Пахомов. – Может, ты хочешь, чтобы и я жил вечно?

Не решаясь это утверждать, я рассказывал про другую, хоть и не потустороннюю жизнь. Но это еще больше бесило Пахомова.

– Не хватать, – стонал он, – может только денег.

Прочитав все книги и не найдя в них ничего путного, Пахомов жил, торопя годы. Смерть пугала его меньше расходов. Она мало что могла изменить. Стараясь ничего не тратить, он ждал старческого бессилия, чтобы покончить и с этой арифметикой. Когда его желание сбылось, Пахомов влюбился, и Бог стал ему необходим.

“Одной природе Бог не нужен, – говорил я себе, глядя на Пахомова. – И мне. Но только днем”.

Ночной Бог не имеет отношения к дневному. Возможно, они даже не знакомы. Про ночного Бога ничего не известно, зато дневной хорошо изучен, но опять-таки не мной.

Однажды, решив познакомиться с ним поближе, я отправился в церковь. У нас их две. На холме протестантская, вторая, победнее, католическая. У католиков всем заправлял толстый, как в “Декамероне”, священник. Он походил на тренера и не стеснялся в выражениях. Купаясь в любви паствы, он обещал разобраться с прихожанами на том свете.

У протестантов людей было поменьше. Пастор – стройная негритянка – горячо говорила о производительности труда. Оставалось еще православие, но тут меня шуганули с порога. Над входом висела доска, перечисляющая все, что запрещалось делать в церкви. Даже на глаз в списке было больше десяти пунктов.

Не сумев найти Бога, я решил ставить опыты на животных и в тот же день завел сибирского котенка по имени Геродот. Когда-то у меня уже был кот – Минька. Хотя правильнее сказать, что это у него был я. На двоих нам было пять лет, но он рос быстрее. Минька сторожил меня в темных закоулках нашего бесконечного коридора и гнал до кухни, где я спасался на бабушкиных коленях.

Минька открыл мне зло, на Геродоте я хотел опробовать добро. Я решился на это, хотя коты вовсе не созданы по нашему образу и подобию. У них, например, совсем нет талии. Еще удивительнее, что они никогда не смеются, хотя умеют плакать от счастья, добравшись до сливочного масла.

И все же ничто человеческое котам не чуждо. Раздобыв птичье перо, Герка мог часами с ним валяться на диване – как Пушкин. Но я прощал ему праздность и никогда не наказывал. Только иногда показывал меховую шапку, а если не помогало, то зловеще цедил:

– Потом будет суп с котом.

Чаще, однако, я мирно учил его всему, что знал. Когда он, урча и толкаясь, бросался к кормушке, я цитировал хасидских цадиков.

– Реб Михал говорил, что ты не должен наклоняться над едой, чтобы не возбуждать в себе жадности, и не должен чесаться, чтобы не возбуждать в себе сладострастия.

Стараясь, чтобы Геродот жил, как у Бога за пазухой, я еще в самом начале объяснил ему суть эксперимента.

– Звери не страдают. Они испытывают боль, но это физическое испытание, страдание же духовно. Оно и делает нас людьми. Значит, задача в том, чтобы избавиться от преимущества. Мудрых отличает то, чего они не делают. Лишив себя ограничений, мы сохнем, как медуза на пляже.

Услышав о съестном, Герка открыл глаза, но я не дал себя перебить.

– Запомни, мир без зла может создать только Бог, или человек – для тех, кому он Его заменяет.

Дорога в рай для Геродота началась с кастрации – чтобы не повторять предыдущих ошибок. Избавив кота от грехопадения, мы предоставили ему свободу. В доме для него не было запретов. Он бродил, где вздумается, включая обеденный стол и страшную стиральную машину, манившую его, как нас Хичкок. Считая свой трехэтажный мир единственным, он видел в законном пейзаже иллюзию, вроде тех, что показывают по телевизору. Но вскоре случайность ему открыла, что истинное назначение человека быть ему тюремщиком. Однажды Герка подошел к дверям, чтобы поздороваться с почтальоном, и ненароком попал за порог. Он думал, что за дверью – мираж, оказалось – воля.

Геродот знал, что с ней делать не лучше нас, но самое ее существование было вызовом. Он бросился к соседскому крыльцу и стал кататься по доскам, метя захваченную территорию.

– Толстой, – увещевал я его, – говорил, что человеку нужно три аршина земли, а коту и того меньше.

Оглядывая открывшийся с крыльца мир, Герка и сам понимал, что ему ни за что не удастся обвалить его весь. Он напомнил мне одного товарища, который приехал погостить в деревню только для того, чтобы обнаружить во дворе двадцативедерную бочку яблочного вина. Трижды опустив в нее литровый черпак, он заплакал, поняв, что с бочкой ему не справиться.

Герка поступил так же: поджал хвост и стал задумываться. Тем более, что, боясь машин, мы не выпускали его на улицу. Это помогло ему обнаружить, что сила не на его стороне. Прежде он, как принц Гаутама в отцовском дворце, видел лишь парадную сторону жизни. Мы всегда были послушны его воле. С тех пор, как мы заменили ему мохнатых родителей, он видел в нас своих. Тем более, что мастью жена не слишком от него отличалась. Котенком он часто искал сосок у нее за ухом. Но теперь Герка стал присматриваться к нам с подозрением.

Я догадался об этом, когда он наложил кучу посреди кровати. Этим он хотел озадачить нас так же, как мы его. Это не помогло, и Герка занемог от недоумения. Эволюция не довела котов до драмы абсурда, и он не мог примириться с пропажей логики. Вселенная оказалась неизмеримо больше, чем он думал. Более того, мир вовсе не был предназначен для не-го. Кошачья роль в мироздании исчерпывалась любовью, изливавшейся на его рыжую голову.

Пытаясь найти себе дополнительное предназначение, Геродот принес с балкона задуманного воробья. Но никто не знал, что с ним делать. Воробья похоронили, не съевши.

От отчаяния Герка потерял аппетит и перестал мочиться. Исходив пути добра, он переступил порог зла, когда нам пришлось увезти его в больницу.

Медицина держится на честном слове: нам обещают, что, терпя одни мучения, мы избежим других. Ветеринару сложнее. Для кота он не лучше Снежневского: изолятор, уколы, принудительное питание.

Когда через три дня я приехал за Герой, он смотрел не узнавая. В больнице он выяснил, что добро бесцельно, а зло необъяснимо. Мне ему сказать было нечего. Я ведь сам избавил его от грехов, которыми можно было бы объяснить страдания.

Теодицея не вытанцовывалась.

Я обеспечил ему обильное и беззаботное существование, оградил от дурных соблазнов и опасных помыслов, дал любовь и заботу. Я сделал его жизнь лучше своей, ничего не требуя взамен. Как же мы оказались по разные стороны решетки?

Этого не знал ни я, ни он, но у Герки не было выхода. Вернее, был: по-карамазовски вернуть билет, сделав адом неудавшийся рай. Он поступил умнее – лизнул руку и прыгнул в корзину. Ничего не простив, он все понял, как одна бессловесная тварь понимает другую.

В тот вечер, не усидев дома, я сел на велосипед и отправился к статуе Свободы. Вода и небо вокруг нее, как иллюстрация к Жюльо Верну. Парусники, дирижабли, вертолеты, даже подводная лодка, оставшаяся с парада. Статую видно лишь в профиль. Кажется, что она стоит

на котурнах, но античного в ней не больше, чем в колоннаде банка. На берегу толпятся туристы. Они все время едят, как голуби.

Солнца уже нет, но дома еще горят, перебрасываясь зайчиками. В темнеющем воздухе ажурные, как чулки, тросы Бруклинского моста висят над водой. Краснорожий буксир тянет к морю мусорную баржу. Навстречу ему шлепает пароходным колесом расплывшаяся “Бубновая дама”. Снижаются самолеты, птицы жмутся к воде, последнее облако запуталось в небоскребах. В сумерках дневное безбожие встречается с ночным суеверием, и тьма прячет довольного Бога, потирающего невидимые руки.

Я тороплюсь домой. Чтобы вернуться, мне надо вновь пересечь мост. Пыхтя и потя, я взбираюсь по крутому бедру, пока дорога не становится покатой, и велосипед сквозь забранное решеткой тросов небо катится на Запад. То и дело меня обгоняет молодежь, но я не трогаю педали. Тормозить поздно, торопиться глупо. Впереди уже темно, но сзади, на бруклинской стороне, запылала неоновая реклама журнала пятидесятников: *WATCHTOWER*. “Сторожевая вышка”, – неправильно перевел я.

Таблетка от танков

Путешествиям в подсознание меня научил лама Намкхай Норбу, вернее – его бруклинский ученик психиатр Ник Леви. Американский тезка моего рижского товарища походил на Колю избытком оптимизма. Один не верил в тюрьму, другой – в смерть. Изучив тибетскую “Книгу мертвых”, Леви делился загробным опытом. За вход он брал 60 долларов, с пары – сотню. Скидкой, правда, никто не воспользовался.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.